

Д.З. ДОКТОРОВ, Б.М. ФИРСОВ

ПРАВИЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗНОМЫСЛИЕ

Б. ФИРСОВ РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ НОВОЙ КНИГЕ

Б. ДОКТОРОВУ

Возможно, мы с Борисом Максимовичем Фирсовым несколько поторопились с обсуждением его новой книги «Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы». Он не в полной мере отошел от сложной, многолетней работы, а я недостаточно погрузился, проник в ее содержание. Однако, на мой взгляд, необходимо, чтобы процесс ознакомления российских социологов с этим монографическим исследованием начался как можно быстрее. Широта трактовки стержневой темы анализа и выводы Фирсова, необычность его жизненного пути, слово и дух книги обещают стать катализатором размышлений и действий социологов, разрабатывающих многие проблемы российского общества. По своему предмету это книга об общественном сознании советских людей, по жанру — социальная история современности, по стилю — близка к исповеди социолога. Книга читается медленно, все время возникает диалог читателя с самим собою.

Анализ событий, отстоящих от нас более чем на полвека, в равной мере интересен деталями и обобщениями, он — о неразрывности социального времени, и иллюстрирует глубокое замечание Фолкнера о том, что прошлое никогда не умирает, оно даже не становится прошлым. Такая книга не могла бы быть написана человеком, не имеющим собственного опыта наблюдений и переживаний процессов, происходивших в СССР сороковых-шестидесятых годов. Но одновременно она остро современна; в ней представлена динамика восприятия социальной реальности шестидесятником, которого перестройка заставила переосмыслить многое в обществе и в себе. Молодые социологи, читая книгу Фирсова, смогут задуматься, а такого ли в действительности то социальное устройство России, которое видится им. Социологам среднего возраста обсуждаемая работа напомнит, что в сегодняшних россиянах сохраняется многое от человека советского. А это говорит о необходимости внимательного изучения и сохранения опыта социологии советского времени. Наиболее близка тема разномыслия в СССР будет социологам первых поколений. Они будут постоянно сверять написанное Фирсовым со своим видением прошлого и своими раздумьями и чувствами относительного прожитого. Это прекрасно и означает, что уже в ближайшие годы можно ожидать развития многих методологических и сюжетных линий, обозначенных в книге.

Борис Докторов

Фирсов Борис Максимович — доктор философских наук, Почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. **Адрес:** 191187 Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 3, Европейский университет в Санкт-Петербурге. **Электронная почта:** firsov@eu.spb.ru

Докторов Борис Зусланович — доктор философских наук, профессор, независимый исследователь и консультант, США. **Электронная почта:** bdoktorov@inbox.ru

Борис Максимович, такие книги, как твоя, пишутся по итогам прожитых лет... Трудно допустить, что так просто, проснувшись как-то утром и выпив чашку кофе, ты сказал себе: «а не сотворить ли мне повестушку?» На мой взгляд, можно говорить о трех обстоятельствах, которые привели тебя к рассмотрению проблемы разномыслия в СССР. Первое, стремление обобщить все, что сделано тобою по части анализа сознания людей: изучение аудитории телевидения и развития массовой коммуникации в целом, анализ общественного мнения, размышления по поводу качества современного населения страны, погружение в мир россиян, живших на рубеже 19 и 20 веков, наконец, - осмысление истории советской социологии [2, 5, 6, 12-14]. Второе: стремление понять свой собственный жизненный путь. Третье: особенности нынешнего состояния России и сознания россиян. Так ли это? Что из названных обстоятельств наиболее подвинуло тебя к анализу разномыслия? Может быть, ты увеличишь перечень этих факторов?

Согласен с тем, что такая книга пишется по итогам прожитых лет. Но далее ты предлагаешь три причины, под влиянием которых я взялся за перо. Одна из них — желание подвести итог сделанному в науке. Вторая — заново открыть себя, понять свою собственную жизненную траекторию. Третья — выразить свое отношение к нынешнему состоянию России и россиян. Строго говоря, ты не угадал. Твоей пули в «десятке» нет.

Я давно, еще в перестроечные годы, понял, что время СССР заканчивается, грядет другая жизнь, стал размышлять на тему, а почему это происходит, почему «великий могучий Советский Союз» так бесславно завершает свой исторический путь. Одно из самых убедительных объяснений тому в процессе внутренних диалогов с самим собой, я связал с трансформациями сознания, с его медленным, но неуклонным развитием в сторону отказа от социалистической (коммунистической) идеи. Это была своеобразная «контрэволюция» сознания советского общества, подготовившая крах советской системы.

Ясно, что я опирался на собственное мироощущение, лучше сказать, мирочувствие. Но серьезно писать об этом, будучи директором Ленинградского филиала Института социологии РАН, а затем ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге, я не мог. Не было времени. На мое счастье в начале нового века, в 2003 г. истекли мои ректорские полномочия, я впервые в своей жизни переходил из царства необходимости в царство свободы, и, как всякий нормальный человек, искал способы существования в новых жизненных условиях. Играть в домино с ветеранами труда и войны во дворе дома я бы никогда не стал. Потому решил стать научным сотрудником с программой деятельности, определяемой, прежде всего, собственным выбором. Я твердо заявил, что буду писать, но не мемуары и воспоминания, а работы смешанного жанра, свободные от жестких канонов научных трактатов, допускающие смешение стилей, вариации дискурса, позволяющие, если требуется, ссылаться на самого себя (речь не о цитатах), на собственный жизненный и широко понимаемый научный опыт, и, разумеется, на поступки и мысли других, близких мне по духу людей. Не стану определять жанр. Для того, что бы оправдать подобного рода авторское своемыслие, я должен

был выбрать общественно значимую тему, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», проведенные в муках мало кому нужного сочинительства...

Это — о мотивах, теперь, пожалуйста, о проблемном поле...

Чтобы не терзать тебя и будущего читателя нашей беседы поисками разгадок моего творчества, сошлюсь на идею написать книгу о том, как неотвратимо разрушался монолит советской системы. Я решил вернуться к осуждению «культы личности» на XX съезде КПСС — событию, которое породило надежды на возможность реформ и диалога с властью. Однако уже тогда, как писал об этом наблюдательный Ю.Левада, власть начала утрачивать свое безраздельное господство над людьми и не могла остановить бурление умов в обществе. Гласность и открытие шлюзов разнообразной информации в перестроечный период придали этому бурлению невиданные масштабы, привели к образованию «взрывной смеси», которая для начала пробила брешь в каменной стене ортодоксального социального мышления. Потом, благодаря этой брешу, развалилась и сама стена. Заряды, заложенные в 60-е гг. (добавлю от себя: и в пятидесятые 50-е гг.) «рванули» в 80-е. Хотя этого, будем откровенны, никто не ожидал. Рассказ Левады помог очертить проблемное поле предпринятого мною исследования. Я решил изучить процесс разномыслия (diversity of thinking) в советском обществе в период от победы в Великой отечественной войны до образования новой России.

История разрушения монолита советской системы нуждается в современном и непредвзятом освещении. Ее следует адресовать молодым поколениям, родившимся и вступившим на жизненный путь в условиях обновленной России. Бесспорно, что эта история будет многократно переписываться, ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я видел и вижу особую пользу в том, чтобы она была предложена людьми, чья сознательная жизнь и деятельность пришлась на советское время.

Заголовок твоей книги «Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы» указывает на предмет и объект твоего исследования. Мы знаем, как сложно они выбираются, конструируются. Из какого первичного хаоса они возникли? В рамках выдвинутой тобою тематики были ли какие-либо иные варианты с выбором предмета и объекта? Почему ты выбрал термин «разномыслие», а не, к примеру, «инакомыслие»?

В конце 2003 года, задумываясь о новом проекте, я по установившейся традиции полагал, что появление первых признаков раскрепощения страны надо отсчитывать от марта 1953 г., связывать со смертью Сталина и наступившей хрущевской «оттепелью». В согласии с этим восемь первых послевоенных лет, прошедших под знаком сталинской власти, следовало считать мрачным, лучше сказать мертвым периодом истории, когда люди продолжали привычно молчать, будучи приученными к безгласному повиновению в период «большого террора».

Коллективность молчания в упомянутый период не вызывает сомнений. Но даже и в этом, казалось бы, тяжелом, безвыходном случае, не прекращалась индивидуальная и групповая (в малых группах) рефлексия окружающей жизни и выражение разных мнений в «укрытиях», роль которых

выполняли близкие люди, спаянные совместным переживанием непрерывных бед и редких радостей тех лет.

Мостик к этой рефлексии прокладывается вполне естественным образом, если принять, что оптимизм минимально требовательных и кое в чем продвинувшихся (ядро классического советского общества) мог и должен был иметь *альтернативой* пессимизм выживших, максимально требовательных и ни в чем не преуспевших. Особый и до сей поры мало изученный феномен — всенародное переживание событий военных лет, жестокая правда об испытаниях, выпавших на долю едва ли не каждой семьи.

Размышляя над всем этим и опираясь на впечатления от прожитой жизни, я предположил, что не только в условиях «глобального потепления», наступившего в хрущевскую эпоху, но и в условиях «вечной мерзлоты» сталинских послевоенных лет, люди искали и находили способы оставаться самими собой, сопротивляться принуждению к единомыслию, которое было, в конечном счете, одним из главных и решающих приемов удержания власти. Проследить этот тренд на примерах коллективных действий нельзя. Тени «групповщины», групповых «заговоров» до сих пор преследуются едва ли не всеми ветвями российской власти. Совершив переход с социетального уровня на уровень поступков отдельных людей, я обрел поддержку своим представлениям о разномыслии в высказываниях и воспоминаниях моих ровесников, чьи жизненные впечатления я уверенно разделяю и считаю верными. Приведу слова одного из них, актера Сергея Юрского: «Плоха была советская власть. Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли — большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного подспудного сохранения себя как *личности в толпе* [курсив мой. — Б.Ф.] — этот опыт бесценен».

Конечно, размышления всегда приводят к критике...

Да, тоталитарный режим оказался не в силах «прекратить» тайную духовную жизнь, позволявшую человеку находить в себе силы уходить от насильственного погружения в волны и потоки коллективного опыта и переживаний, в удушливую атмосферу единодушия. Индивидуальность человека — суть неповторимая совокупность его психических свойств, и потому различия в восприятии и отношениях с окружающим его миром заданы изначально. Отсюда продукты психической деятельности, которыми обмениваются люди — мнения, взгляды, убеждения — в принципе у разных людей должны быть разными. Их одинаковость (единомыслие) скорее частный случай, исключение из правила. *Правилом является разномыслие!* По всей видимости, оно было всегда. Придушенное репрессиями 1930-х годов, незаметное на фоне всеобщего страха, оно постепенно взяло на себя роль фермента-катализатора, доведя брожение умов в обществе до смены ориентиров, обозначающих движение социума в историческом времени. Это показано в книге на примере практик разномыслия, обозначившихся уже в послевоенное время.

Теперь — о самом термине, о разномыслии

Обоснование выбора разномыслия в качестве главного понятия всей книги — это сквозная тема всей книги. Возможно, что тебя и читателей

заинтересуют результаты моей работы с этим словом. Время своевольно распоряжается значениями слов нашего родного языка, непредсказуемо наделяя приоритетом и особым смыслом обозначаемые ими явления. Ведь далеко не однозначным является слово «разный». Словарь рекомендует различать такие его значения: 1. Разный (*несходный с другим, с другими в чем-либо, в каком-либо отношении*) Разные характеры. 2. Разный (*о двух или нескольких лицах, предметах, понятиях: не один и тот же, не тот же самый*). Двигаться в разных направлениях [8]. Синонимы этих значений *различный, неодинаковый*, ссылки на слова, весьма близкие по смыслу, такие как *разнообразный, разнородный*, помогут зафиксировать семантическое поле искомого словоупотребления. С помощью слова «разный» можно создать собирательные понятия, способные объединять не сходные между собой, отличающиеся явления (предметы, признаки), не образующие к тому же какого-либо единства. Одно из таких существительных — РАЗНОМЫСЛИЕ — отражение множественности мнений и взглядов, разнообразия точек зрения, несогласия во мнениях. Как всегда выручает В. Даль, предложивший видеть за этим существительным различные мысли, заботы, думы, бродящие в голове, неодинаковые убеждения, помыслы, скорее всевозможные, всякие или всяческие (разг.), чем просто непохожие.

Однако для Даля, человека, жившего в пору свободную от влияния разрушительных идеологий, любое слово было не более чем элементом народной речи, живого русского языка. XX век изменил внутриязыковую ситуацию и ликвидировал нейтралитет словоупотребления, свойственный естественному течению народной жизни. Революция вторглась в семантику слов и стала навязывать нейтральным понятиям идеологизированные смыслы. Разномыслящий индивид перестал быть просто человеком, думающим и рассуждающим не так как остальные. Партийная идеология сделает его «не нашим», «чужим», занеся его своемыслие в число заведомо осуждаемых революционной моралью свойств. «И тот, кто сегодня не с нами / Тот — против нас!» Специфика слова «разномыслие» в русском языке сегодня такова, что оно означает необщее понимание и отношение к социальной жизни.

В силу чего ты ограничился двумя десятилетиями 1940-1960, а не взял более широкий временной период? Разве в годы Гражданской войны «мыслие» было гомогенным? А «перестройка» не была пиком разномыслия?

Причина, под влиянием которой я ограничился двумя десятилетиями, 1940-1960-ми годами, я не довел свой рассказ о разномыслии до финала советской истории, весьма простая. Помешал максимализм замысла. Ведь я замахнулся на теорию, социальную историю выбранного мною социального феномена, а также на обширную панораму практик разномыслия. У меня не хватило сил и времени, и я попросил у грантодателя пощады. Анализ разномыслия в брежневское и горбачевское время — предмет особых усилий, здесь должны быть иные схемы. Фонд Форда пошел мне навстречу, хотя мысли довести дело до логического конца я не оставил.

В чем специфика инакомыслия, как это явление соотносится с разномыслием?

Сошлюсь на разыскания современных российских историков-архивистов. Один из них, В.А. Козлов, напомнил, что в принципе это соотношение занимало, волновало Александра Галича. Диссидент по духу, он обозначил существо диссидентства термином «резистанс» («своего рода сопротивление»), но одновременно писал о «молчаливом резистансе» — десятках и сотнях тысяч людей, составлявших фон, без которого инакомыслие не могло существовать. Козлов пишет, что Галич почувствовал некоторую узость самоназваний «инакомыслящий» и «диссидент», их временную и географическую локальность (небольшая группа столичной интеллигенции, занятая правозащитной деятельностью и «самиздатом» в 60-е и 70-е гг.). Одновременно он уловил существование еще какой-то среды, иных, кроме названных социальных и культурных слоев, к которым эти слова (самоназвания) не подходили и оставались не идентифицированными. Как назвать диссидентом рабочего, обзававшего Сталина болваном? Можно ли считать диссидентской деятельностью разбрасывание листовок или создание подпольных кружков, реже — организаций? К тому же правозащитники осуждали подпольщину и не разбрасывали подметных писем. Да и возникновение инакомыслия на тщательно прополотом путем массовых чисток обществе вряд ли допускалось до известного времени. Явление инакомыслия будет возрождено в постсталинском обществе. Другое дело «молчаливый резистанс» (по Галичу) и его синоним «разномыслие» (посмею сказать — по Фирсову) как альтернатива насаждаемому единомыслию сверху, как сознательное отделение себя от тела принудительно внушаемой коллективности слов и дел. За этим не во всех случаях стоит протест, борьба с властью, но уход из-под глыб идеологического монолита был вполне возможен притом, что человек оставался лояльным к режиму. Такого рода феномен имел высокую вероятность в условиях не только авторитарного, но и тоталитарного режима.

И тогда... что же следует понимать под инакомыслием? Определи его поостроже.

Особый смысл в русском языке имеет слово «иной». От него возникло прочно укорененное в современном лексиконе, издавна животрепещущее и злободневное слово — ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ, тот, кто мыслит иначе, держится иных, других убеждений, бросая вызов окружению, обществу и власти. Были эпохи, когда этого слова боялись. Толкование слова в словаре Ожегова (1952 г., еще живет вождь и учитель) сопровождалось ремаркой (*устар.*) — *устарелое*, которая задавала нормативное отношение к слову и обозначаемому им явлению. Де, мол, так раньше называли человека, имевшего другой образ мыслей, а сейчас (в начале 1950-х гг.) таких людей едва ли встретишь. Тот же словарь особым образом выделял канонические черты советской общественной системы — единомыслие, единство, единодушие. Правда, при толковании слова «единомышленник» словарь предусматривал два его значения. 1. Единомышленник - человек, который находится в полном единомыслии с кем-нибудь. 2. Единомышленник — сообщник в каком-нибудь деле; иллюстрацию словаря к этому значению упомянутого слова (*Выдал своих сообщников*) тогда понимали все.

Разрушить монолит единомыслия, сформировавшийся к концу сталинского правления, значило придти к распространению в обществе раскрепощенных форм общественного сознания, какими правомерно считать разномыслие и инакомыслие. Но в случае *разномыслия* человек приступает к реконструкции картины мира, не порывая с конституирующей этот мир идеей, что не мешает ему быть ее серьезным критиком. В случае *инакомыслия* ментальная картина мира в голове индивида радикально меняется, она теперь опирается на другой тип устройства общественной жизни.

Апофеоз советского инакомыслия (тему которого я совершенно сознательно оставил за пределами подробного анализа) — диссидентство, которое опиралось на культуру поступка, связанного с экзистенциальным протестом. Модель, которую формировало это движение, была первой несовершенной моделью гражданского общества. Именно в него «играли», по выражению А.Даниеля, диссиденты.

Приведи, пожалуйста, пару примеров разномыслия?

Первый пример разномыслия как необщего понимания и отношения к социальной жизни — доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. Мужественный поступок, вызов, перчатка, брошенная всей партии. Другое дело, как и кто эту перчатку поднимет. Я посвятил целый раздел сопротивлению десталинизации советского общества, начавшейся в эпоху Хрущева. Другой пример — из числа тех, которые остались по разным причинам в архиве книги. Известен факт (о нем поведала «Звезда» в материалах посвященных пятидесятилетию со дня XX съезда КПСС), когда будущий крупный российский математик Анатолий Вершик (родился в 1930 г.) в одну из мартовских ночей 1956 г. разбил мемориальную доску, посвященную Сталину и установленную на здании бывшей Биржи. Слава богу, его не поймали, но поступок заслуживает того, чтобы о нем сказать.

Но, вообще говоря, книга насыщена примерами практик разномыслия, что дало мне возможность построить панораму явления, относящуюся к послевоенному двадцатилетию.

Можно ли трактовать возникновение социологии в СССР в конце 1950-х годов как проявление разномыслия?

Со всей определенностью «да». Наиболее важной здесь окажется роль интеллектуального сообщества. Социология, бесспорно, была результатом сознательной деятельности интеллектуальной элиты под влиянием хрущевской либерализации после XX съезда КПСС (1956 г.). Идею реставрации социологии в числе первых предложила и начала обсуждать группа советских философов с либеральной ориентацией (Г. Андреева, Б. Грушин, А. Здравомыслов, И. Кон, Ю. Левада, Г. Осипов, В. Ядов). Естественным оказалось очень скорое присоединение к ним экономиста В. Шубкина, историка и этнографа Ю. Арутюняна. В принципе идея была поддержана по методу «снежного кома» большинством интеллектуального сообщества. Ядро философской науки в целом, тем не менее, было инертно к идее, что не мешало части философов (кто имел дело с диалектическим материализмом, логикой и естественными науками — П. Копнин, А. Зиновьев, А. Ракилов,

Б. Кедров) также высказаться «за». Из числа ученых — специалистов по историческому материализму — в ряды защитников социологии вступил В. Келле. На сторону становящейся науки в числе первых перешли и международники (Ю. Арбатов, Ю. Замошкин, В. Семенов), специалисты по системному анализу (И. Блауберг, В. Садовский, Б. Юдин). Новые волны поддержки исходили от математиков, кибернетиков (Л. Канторович, лауреат Нобелевской премии), журналистов и писателей-публицистов. Особо важными оказались действия «Нового мира» и «Литературной газеты», которая была главным рупором социологии (до выхода первого номера журнала «Социологические исследования» в 1974 г), публиковала социологические статьи, рецензии на книги. Редакция «ЛГ» была первым заказчиком исследований читательской почты и читательской аудитории.

Поддержку со стороны интеллектуалов можно объяснить тремя обстоятельствами. Во-первых, они являлись сторонниками демократизации общества, расширения политических свобод и верили в то, что социология может выступить средством раскрепощения общества. Ведь социологические исследования, по их мнению, позволяют увидеть реальные настроения и мнения людей и в этом смысле превзойти возможности власти, которая часто с высокомерием продолжала настаивать на том, что знает реальные потребности населения, поскольку ее политика отражает подлинные интересы советских людей. Во-вторых, они считали социологию средством, которое могло бы подчеркнуть важность человека и человеческого фактора. В-третьих, социология открывала путь к принятию решений в опоре на научные данные. Это было вызовом всему тогдашнему обществоведению, трезвым, реалистическим взглядом на вещи, взамен сладкоголосого пения в честь мудрой политики коммунистической партии.

Реализация этих установок помогла социологии сыграть заметную роль в просвещении общества, в развитии его самопознания. Татьяна Ивановна Заславская справедливо писала о том, что долгие десятилетия население страны было лишено объективной информации о положении дел в социуме. Более того, оно тонulo в потоках государственной лжи о «новом платье короля» и часто не решалось домысливать, почему король временами оказывался голым. На фоне очевидного лукавства экономической и социальной статистики, социология в своих первых попытках пыталась приподнять завесу над истинным положением вещей. Т. Заславская уподобляет возникновение социологии в СССР «появлению маленького и тусклого зеркальца в руках человека, никогда не видевшего себя самого и превратившегося в полузверя». Реанимация, «расшевеливание» общества, сохранившего в себе витальные силы, стимулировали громадный интерес к социологическому размышлению и его результатам.

Есть ли у разномыслия мера: оно есть или его нет? или это континуум: скажем, «слабое», «среднее» и «сильное»?

Я предпочитаю говорить о качестве разномыслия, но не пытаюсь прилагать к нему метрические системы. Это качество сильно зависит от социальных условий. Есть большая разница в «катакомбном» разномыслии и разномыслии, вышедшем на поверхность общественной жизни. Гласность в эпоху

перестройки это уже крик души народа, а не просто публичный обмен мнениями по широкому кругу вопросов общественной жизни.

Также имеет значение для внешнего восприятия, для оценочного суждения, лучше сказать, экспертизы предмет разномыслия. Одно дело, когда оно касается сфер личной, семейной жизни, другое, — когда оно сопряжено с обществом, отношением к режиму. Термометр с градуированной шкалой, разбитой на интервалы «слабое», «среднее» и «сильное» внесет путаницу в диагноз сложного социального явления, каким является массовое сознание, склонное к разномыслию, или, напротив, избегающее его. В книге я принял опыт сравнения «крамолы» и общественного мнения, сопоставил «антисоветские высказывания» (кому-то они могут показаться пиком разномыслия) со свойствами массового сознания, какими их нашел Борис Грушин в пору расцвета Института общественного мнения «Комсомольской правды». Десять базовых характеристик, предложенных Грушиным для «измерения» массового сознания населения страны, помогли мне понять *качество* «крамольного» разномыслия. Итогом стал эскизный набросок портрета «крамолы» как одной из форм общественного мнения:

Я обратил внимание на эту твою картину. Не мог бы ты совсем скупо обозначить здесь образ этого феномена?

По десяти критериям Грушина это будет выглядеть так.

Круг интересов: Общий диапазон интересов тогдашних россиян позволил сказать, что по кругу своих устремлений и интересу к различным сторонам жизни страны и мира масса советских людей выглядела в те годы развитой и активной. Этого не скажешь о настроениях носителей крамолы. Низкая включенность в различные сегменты жизни тогдашнего социума является следствием их бросающегося в глаза недовольства жизнью, остро осознаваемой растущей неспособностью государства платить по векселям социальных обещаний. Как правило, крамольники — люди с узким диапазоном общественных интересов. *Морфология «крамольного» сознания:* Менталитет этих людей оказался перегружен знаниями заимствованиями «извне» под действием советской, зарубежной пропаганды, слухов и молвы. Роль собственного опыта здесь была минимальной. Несамостоятельность сознания будет влиять на выбор картины мира. Многие носители крамолы станут считать источником зла СССР не столько вследствие осознанного противостояния советской системе, сколько под влиянием бытовых разговоров, во многих случаях «бухтенья и куража». *Уровень знаний* был низким вследствие отсутствия свободы доступа к информации и невысокого уровня образования. Крамольники часто и заметно путались во всем, что выходило за пределы опыта их собственной жизни. *Способность суждения*, вследствие низкого уровня знаний, оставляла желать лучшего. *Ценностные ориентации* отражали явную сосредоточенность «крамольников» на ценности справедливости, равенства, на общих условиях выживания в тесной привязке к собственной жизни, несли на себе печать недовольства и критики, как частных условий жизни, так и советской системы в целом. *Отношение к собственному обществу:* среди носителей крамолы было мало сознательных, стойких оппонентов власти, кто относился к своей отрицательной позиции осмыс-

ленно. Преобладали бузотеры и житейски неустроенные лица. Особо резкой была персонифицированная, отчужденная, критика вождей, политических лидеров страны, Н.Хрущева, в первую очередь. *Эмоционально-психологический тонус*, самочувствие явно указывают на недовольство, тревожность, беспросветность жизни и пессимистические ожидания с нею связанные. *Реактивные способности* — большинство сюжетов, связанных с дестабилизацией и нарушением баланса внутренних состояний, крамольники предпочитают не держать «себе на уме». *Структура сознания в терминах дифференцированности взглядов*: поскольку едва ли не каждое «антисоветское высказывание» оспаривает общепринятые политические и идеологические каноны, то факт демонстрации плюрализма не вызовет сомнений. Чтобы ни говорили их авторы, они говорили и думали не так, как все. Но сознание «крамольников» оставалось акцентуированным. Его носители сплотились вокруг отрицательного отношения к определенному числу сторон советской действительности, в частности, к тому, что лозунг Коммунистической партии «Все для человека» не действовал, постоянно нарушался по вине власти. *Цельность — разорванность*: крамольное массовое сознание (не стационарное, не стабильное) обидой не назовешь, но и сознательным вызовом оно тогда не являлось. Это временный выход из реальности, где строили коммунизм, но с большими шансами на возвращение в эту реальность. Были и «невозвращенцы», но, по всей вероятности немного. Ведь нередко, по свидетельствам историков, перелопативших не одну тысячу поднадзорных дел, осужденные крамольники в своих жалобах на строгость приговора писали о том, что никогда не имели антисоветских настроений и в доказательство приводили собственную биографию, отвечавшую тогдашним критериям советскости. И это не было их заискиванием перед властями.

Эклектика взглядов и идей — таков диагноз антисоветских высказываний, подвергавшихся преследованиям в 1960-е гг., который был поставлен российскими историками (В. Козлов, О. Эдельман и др.). Он совпадает с моей социологической экспертизой разномыслия авторов этих высказываний.

И ты сам, и многие твои друзья относятся к когорте «шестидесятников». Как бы ты определил это социально-политическое и нравственное образование? Каковы его критерии, границы? Почему среди твоих ровесников одни стали «шестидесятниками», другие — нет?

Разномыслие для меня — индикатор двух широко разлитых в обществе умонастроений, одно из которых — постепенное осознание того, что социалистическая идея принятая, было, людскими массами (человеком) гаснет, теряет свою энергию; второе — предчувствие того, что на место угасающей приходит новая идея. По моему мироощущению, которое я постарался отразить в книге, послевоенный период советской истории, вплоть до смерти Сталина, связан с первым из этих умонастроений, хрущевское время — со вторым. Разумеется, что все это очень индивидуально, лично, блуждает и пропадает в лабиринтах ментальности разных людей, и не всегда выходит на поверхность бытия. Апофеоз советского разномыслия — шестидесятничество. Шестидесятники опирались на парадигму разномыслия в том понимании, которое я предложил и постарался обосновать в книге.

Большую часть шестидесятников можно четко разделить на две категории. Одни существовали внутри системы, играли по ее правилам и часто использовали эти правила для улучшения системы (например, Георгий Арбатов, Федор Бурлацкий); они старались обустроить коммунистическую идею таким образом, чтобы она жила и не мешала людям нормально жить [11]. Другие, намеренно находились вне системы, не признавали ее правил и в том или ином виде противостояли ей. В этой среде вызревали диссиденты, чей нравственный выбор был связан с поиском формы сохранения себя, своей свободы в общественной ситуации, когда быть свободным во внешнем мире не удавалось никому, включая даже Генсека ЦК КПСС. Для них главный вопрос, состоял в том, как жить, оставаясь при этом порядочным человеком [10].

Петербургский журналист Д. Травин после длительного интервью со мною, написал, что Б. Фирсова нельзя отнести ни к той, ни к другой категории. Он все время пытался синтезировать правила системы, по которым играл как номенклатурщик, с творческими устремлениями, важными для него как для личности. С каждым годом, вплоть до начала перестройки, делать это становилось все труднее, и Фирсов сознательно терял одну за другой номенклатурные позиции, стремясь сохранить себя как представителя интеллектуальной профессии и человека [9].

Долгое время я твердо верил, если не в лучезарное, то вполне достойное будущее своей страны, и старался его приблизить. Жалею ли я об этом? Вычеркиваю ли себя из советского периода моей жизни, значительная часть которой была пронизана иллюзиями и ожиданиями перемен к лучшему. Со всей определенностью отвечаю, нет, не жалею и ничего не вычеркиваю. Я отождествляю себя с советскими шестидесятниками и разделяю складывающееся мнение о результатах их побед и поражений. Они разрушили атмосферу единомыслия, в которую долгое время была погружена страна, они же смогли обозначить варианты движения общества на грани XX и XXI веков. Драма шестидесятников не столько в их компромиссах и даже не в умеренно-наивных планах совершенствования социализма с человеческим лицом, «робких альтернативах», продиктованных «детским позитивизмом», сколько «в самоограничении, обернувшимся ограниченностью следующих поколений, – изживать которую еще очень долго [3, с. 160]. Кассационной жалобы на приговор, вынесенный Вайлем, я подавать не стану ввиду согласия с вердиктом. К тому же я сужал себя ради успеха в малых, частных делах, отстаивал идеалы советской духовности, иной раз присоединяясь к мнению «За границу охотно едет тот, у кого здесь в душе пусто» (А. Твардовский).

Категория разномыслия применима ко всему спектру отношения людей (индивидов, групп) к миру или в первую очередь речь идет об отношении к политике, социальному устройству, идеологии?

Ко всему спектру. Здесь нет предмета для спора. Мой акцент на разномыслии в сферах политики, социального устройства, идеологии связан с тем, что в этих случаях от советского человека требовались особые усилия для открытого выражения вольнодумства, для демонстрации независимости ума, твердости собственной точки зрения.

Верно ли я понимаю, что разномыслие — норма, оно существует во всех странах, при всех режимах, но инакомыслие — в тоталитарных государствах...

Да, верно, если понимать под инакомыслием (диссидентством) форму *открытой* защиты конституционных прав и свобод. Диссиденты не были организованной политической оппозицией, которая имела программу и план действий, Диссидентов было *немного*, что лишний раз указывало на трудности преодоления государственного страха, в котором граждане прожили несколько десятилетий. С другой стороны, оно свидетельствовало, что действия государства — нарушителя прав и свобод могут быть оспорены. Человеческий дух побеждал всемогущее государство.

По критериям порядочности, которые, которые всегда сохраняли свое императивное значение, хороший человек всегда оставался тем, кто, несмотря на свои изъяны и недостатки, поступал по совести, кто мог совершать ошибки и заблуждаться, но делал это искренно, а не корысти ради, кто в решающий момент не продавал, не опускал глаза долу, не отворачивался, не прятал руку за спину, а протягивал ее как знак внутренней готовности и желания прийти на помощь. Порядочный поступок становился мерилom достоинства человека. Неслучайно, что микросреды, где царил дух порядочности и поддерживался культ хороших людей, часто оказывались ячейками порождения диссидентского движения. Собственно там и возник новый этос отношения человека и государства. «Как жить, сохраняя ощущение того, что ты, несмотря на все творящееся вокруг, остаешься порядочным человеком?» — такой вопрос задаст себе Людмила Алексеева, одна из выдающихся советских диссиденток, в оттепельные годы на заре шестидесятнического движения и даст на него ответ: «Я веду себя в соответствии с собственным представлением о том, что хорошо и правильно, а что неприемлемо».

Твои сторонники в трактовке права людей на разномыслие четко обозначены в книге, но скажи, с кем ты полемизируешь? Или с чьей стороны ты ожидаешь несогласие?

Повторю то, что сказал об этом в предисловии к книге. Я всегда испытывал и испытываю особый интерес к личным документам и свидетельствам событий прошлого. Потому «без страха» ходил по «минным полям субъективности» ради поиска фактов, работавших на мое собственное восприятие и понимание прожитой жизни, будучи к тому же убежденным в особой роли единичного, случайного в историческом процессе. Я субъективно, но не предвзято, подошел к отбору авторов мемуаров и воспоминаний. Это — люди, чья нравственная позиция во многом совпадает с моей, чьи взгляды являются опорой моего мирочувствия, кому я доверяю больше, чем продолжающим лгать официальным источникам и персонам. Разномыслие — надежный способ иммунной защиты от пандемии разновременного вранья, окутавшего Россию. Особые меры я предпринял для защиты от моих современников, которые пишут так, что никого и ничего до них не было. В итоге появился солидарный дискурс послевоенной эпохи, основанный на растущем во времени скептицизме ее восприятия. Преимущества этого дискурса и в звучании голоса автора, и в бережном отношении автора к голосам своих

современников. Я сознательно пошел по пути синтеза чужого и собственно-го дискурса. Солировать мне было бы трудно...

Теперь о тех, с кем я спорю. Строго говоря, ни с кем, если иметь в виду конкретных лиц. Я пытаюсь построить баланс, навести мост между двумя типами понимания человека советского. Сообразно первому — человек советский представляет некую особь, чье поведение и мышление полностью определено гегемоническим дискурсом. Идеология здесь тотальна, она перешла в повседневный быт (пример Леонида Ионина: в 1937 г. на льдине, в районе Северного полюса, дрейфовали четыре полярника-папанинца, один из них, беспартийный радист Кренкель выходил из палатки на лютый мороз, когда трое остальных проводили собрание ячейки ВКП(б). Особь формируется целиком и полностью условиями государства-Левиафана. Как следствие она предсказуема, то есть полностью детерминирована режимом, внешними условиями, и укладывается в схемы, которые бывает трудно опровергнуть. Второй тип понимания — личностный. Огрубляя, его можно представить так: поливалентные в своих отношениях с миром люди находили способ оставаться людьми, опираясь на «разрешенные» системой формы взаимодействия, создавали практики повседневности, позволявшие выживать.

Истина и в этих случаях находится где-то посередине. Одинаково вредны, как эйфория перед всем советским, так и увлечения обществоведов паталогоанатомией советского общества. Многие феномены советской жизни не поддаются однозначной интерпретации. Считается, например, что лицемерие было универсальной характеристикой советского социума. Аргументируется это распространенностью двоемыслия и ссылками на Дж. Оруэлла и Р. Арона. Однако лицемерия во многих случаях могло и не быть, люди часто не могли разобраться в себе. Кроме того, ими разыгрывались роли, что было характерно для повседневного существования. Массы людей скрывали этим свое отношение к происходящему, тем более что быть героями все не могли. Героизм был уделом меньшинства. Но я не считаю разыгрывание ролей признаком сильно выраженной общественной патологии, если принять, что жизнь человека постоянно сопровождается нравственными сделками и компромиссами. В ряде ситуаций, типичных для советской жизни прошлых лет, было бы полезнее говорить не столько о двоемыслии как деградации, сколько о сокрытии собственных мыслей как защитном механизме личности. Лицо и маска не обязательно противостоят друг другу. Отделить человеку себя от роли часто невозможно, о чем писал И. Кон в своей новаторской статье «Люди и роли» (1970, № 12). Маска всегда скрывала истинное лицо, но не всегда обезличивала. Пожизненный максимализм, постоянная жесткая оппозиция состояний человека вместо естественного различения и гибкого выбора ролей — нонсенс! Не случайно часть диссидентов (С.А. Ковалев и др.) покоровил призыв А.И. Солженицына «Жить не по лжи!». В условиях вегетарианского тоталитаризма этот призыв невозможно было соблюсти. Ложью были пронизаны все виды общественных отношений, начиная от участия в голосовании и кончая сдачей экзаменов по марксизму-ленинизму или выходом на коммунистический субботник.

Говоря иначе, я решил еще раз поставить вопрос о том, кто мы такие, что с нами делать. Термин или калька *Homo Sovieticus* меня до известной

степени сковывал. То же о термине «*сталинская личность*». Что это такое? — спрашивал я не один раз себя. Найти правильный ответ мне помог, один из консультантов моей книги, историк Олег Кен, безвременно ушедший из жизни поздней осенью 2007 года. Он прозорливо заметил, что это — кальки, рыночные бренды периода перестроечной России. Названия эти были бы оправданы, если советская власть, и только она, непрерывно давала предписания относительно мыслей и действий, доводя их до конца, чего не было в реальности. К тому же и сам автор, подбодрив меня Кен, такую идею опроверг своими примерами и ссылками на практики разномыслия поколения отцов и детей. В повседневных размышлениях, в результате рефлексии различных сторон жизни возникали вспышки, выбросы человеческой энергии, которые долгое время реверберировали, пока обязательно кто-то не повторил поступок, а то и подвиг предшественников. Разномыслие это и неодолимое движение от кого-то к кому-то, от чего-то к чему-то, это и повседневная борьба человеческого ума за изменения к лучшему. Его своеобразная платформа — социальная трансформация форм мышления, порождение собственного взгляда на вещи.

Твоя апология разномыслия понятна. Но все-таки проиллюстрируй, объясни, что ты имеешь в виду под этой трансформацией.

На протяжении второй половины 1940-х и в 1950-х гг. жизнь, в которую вступили следом за отцами их дети, я и мои сверстники, продолжала озаряться светом иллюзий и надежд, навеянных верой в социалистическую и коммунистическую идею. Парадоксально, но в то же время, как для отцов, так и для детей, началось обрушение «великой идеи». В многосложном процессе преодоления идеологии коммунизма под влиянием драматической истории страны я наметил несколько *точек необратимости* развития этого процесса.

Одна из таких точек — *круговая оборона семьи*. Это — неизученный феномен, но семья оборонялась от атак и агрессии сталинского времени, а впоследствии ошибок и нападков других правителей, которые часто не знали, что творили, разными способами вмешиваясь в жизнь людей, пытаясь поставить ее под контроль. Отцы и матери непоротого поколения, оберегая своих детей от тяжести и грубости времени, скрывали мерзкие стороны жизни, спасая тем самым юношеские души от слишком ранних конфликтов с окружающей жизнью. Вторым способом защиты детей в конце хрущевского времени стали семейные инвестиции в их образование. Революция состояла в том, что постепенно складывалась новая социальная структура с людьми, большинство которых считали образование высшей ценностью. Идеология здесь явно теснилась, отступала, ибо люди предпочитали инвестиции в себя заботам об общем благе.

Вторая точка — *снижение потенциала жертвенности* во имя светлого будущего. Война, унесшая жизни миллионов людей, трудности послевоенной поры, низкая платежеспособность власти в том, что было связано с обещаниями мирной, справедливой и зажиточной жизни в условиях выстрадавшего мира, все это имело своим следствием рост самооценки собственной жизни в глазах массы людей и осознание права на распоряительство ею в

целях сохранения самих себя. В 1946 г. на долю займов приходилось 24% государственного бюджета, в 1952 г. — 42%! О том, что грядет очередной заем торжественно-загадочным голосом извещал страну диктор Левитан: во столько-то часов текущего дня будет передано особой важности сообщение от имени ЦК партии и Правительства. Случалось такое ежегодно в первых числах мая, но все знали, что сегодня начнется ограбление населения страны. С каждым **таким** случаем вера в человечность идеологии коммунизма выветривалась.

Третья важная точка — *препятствия на пути усвоения идеологии труда* в социалистическом обществе, согласно которой труд являлся делом чести, доблести и геройства. Уже в шестидесятые годы в представлениях массы рабочих и служащих ценность высокого заработка начала выходить на лидирующее место в системе ценностей труда, материальное и индивидуальное стало теснить и преобладать над духовным и общественным.

Четвертая и далеко не последняя точка необратимости (об остальных читатель узнает, если прочтет книгу) — *обнажение конфликта поколений*, социокультурных наследий и ценностей. О проблеме отцов и детей заговорили накануне 1961 года. В декабрьском номере «Юности» за 1960 г. Станислав Рассадин опубликовал статью, в заголовке которой вынес изобретенное им слово «Шестидесятники». Статья дала повод говорить о том, что автор-злоумышленник противопоставляет детям отцов. Сам автор будет отрицать «крамолу». «Злополучная» статья посвящалась не более как книгам о молодом поколении страны, написанным молодыми авторами, где ореол «благородной нравственности строителей коммунизма» превращался в холодный нимб, а они (молодые герои прозы и драматургии) были готовыми отвечать за свою судьбу, опираясь на воспитание правдой. Был ли искренен Рассадин, отрицая в полемике с партийными ортодоксами-критиками, что он не намеревался своим текстом противопоставлять отцов и детей? Ответом будет: «Да!». Вскоре после выхода статьи в свет, В. Корнилов, поэт совсем из другого лагеря, чем официальные критики рассадинской статьи, принес стихотворение с посвящением Рассадину, кажется так и неопубликованное (цензура тогда «такое» не пропускала) [7]. Дружество двух литераторов надолго расстроила «глупая ссора». То, что здесь «учуял» Корнилов и прямолинейно выразил, — это драма, общая не только для двух людей, но и для страны. Выходило, что противостояние, неизбежное при любом общественном переломе, обнажилось:

ОТЦЫ и ДЕТИ

С. Рассадину

Говорят отцы: Что делать, дети?
Нас нелепо развела судьба:
Мы стояли насмерть за идеи,
Вы стоите — за самих себя.
Мы, как сталь, а вы как будто окись,
Будто вышли из другой руды.
Мы росли и верили: жестокость —
Это — проявленье доброты.
Потому и не пытались спорить,

Принимали долю, не ропща...
Знали: выжить и мечту построить
В мире можно только сообща.
И с усмешкой отвечают дети:
— Хватит с нас идей и медных фраз.
Мечется двадцатое столетье,
Может, и живем в последний раз.
Вот и все. На том поставим точку.
Сами стройте церковь на крови.
Хватит скопа. Дайте в одиночку
Наглотаться воли и любви.
И не ожидайте, не поможем!
Разве — после дождичка в четверг...
Мы не больно на отцов похожи,
Мы похожи на двадцатый век

26 декабря 1960 г.

Рассадин сберег стихи, будучи убежденным в том, что они продолжают ему нравиться. Я включил их в книгу, твердо веря, что в скором времени молодая поэзия XXI века вернется к вечному спору отцов и детей. Люди, чье сознание прошло через эти точки необратимости, преодолевая влияние канонов коммунистической идеологии, могут считаться носителями разномыслия, характерного для эпохи, о которой идет речь в моей книге. По этой причине стихотворение Корнилова для книги — знаковое!

Можно ли найти в работах советских социологов, опубликованных до перестройки, следы, признаки разномыслия? Если нет, то о чем это говорит?

Вопрос неточен. Разномыслия могло быть больше! Но власть сильно мешала разными способами. Об одном из таких способов ты написал мне в своем недавнем письме очень точно: «Я хочу сказать, что первые поколения советских социологов — это мощные личности и сильные самостоятельные ученые... отсутствие цитирования советских авторов в Западной литературе — не их вина, но их беда. Это — не индикатор низкого качества исследовательской деятельности первых социологов, а следствие политики «железного занавеса», который для социологии *не был поднят* даже в годы детанта и позже, вплоть до начала середины 90-х».

Мне остается принять от тебя эстафету и добавить следующее. В основе моего понимания истории послевоенной социологии лежит конфронтация естественного и подконтрольного (несвободного, разрешительного, регламентированного сверху) характера возникновения (порождения) и развития социальных наук. Господствовала неестественная форма управления социологией (по аналогии с другими сферами), знаменовавшая собою полную зависимость ученых и администраторов науки от институтов власти, прежде всего партийной и государственной. Вмешательство инстанций (режима) в деятельность профессионального сообщества было постоянным, оно — предпосылка «урезанного» существования науки и всех ее компонентов.

Свободой духа, так отличавшей диссидентское движение, не обладали ни советская социология, ни основная масса профессиональных социологов

на старте возрождения своей науки. Во многом это объясняется тем, что и возрождавшаяся дисциплина, и ее горячие поборники находились в цепком плену государственной идеологии, представленной советским вариантом теоретического марксизма, предлагавшего ограниченный взгляд на общество и его развитие. Выход за «красные флажки» учения и обращение к иным теоретическим представлениям и взглядам на общество, был сопряжен с рядом опасностей, угрожавших самой возможности продолжения творческой научной деятельности. Но даже если отвлечься от усиленного политического и идеологического контроля, то не удастся сбросить со счетов действие еще двух важных факторов. Один из них — *вера* в справедливость марксизма как учения об обществе, привитая в результате длительного идеологического и образовательного воздействия. Второй — *относительно слабая осведомленность* о немарксистских взглядах на развитие общества, а в ряде случаев неграмотность в том, что касалось истинной сложности и разнообразия взглядов мировой социологической науки на свой предмет. В этом смысле переход к плюрализму социологического объяснения мира и развития собственного общества происходил медленно и часто внутри сознания самого исследователя. Внешняя, публичная сторона процесса, связанная с преодолением власти марксистских догм, была весьма незаметной, протекая, если не в сложных, то в опосредованных, непрямых формах. Например, пытаясь очистить социологическое знание от идеологических наслоений, социологи сокращали ссылки на догмы, избегали подробных цитат.

Влияние марксистских догм я бы рискнул назвать *первопричиной* относительно медленного развития коллективной ментальности социологов в направлении оппозиционного противостояния истмату как единственно правильному научному мировоззрению. Данным тезисом я не пытаюсь умалить роль Маркса как ученого, оставившего след в сокровищнице, как любили говорить в советское время, мировой социально-философской мысли. Даже самые критически настроенные социологи не могли избежать влияния многих марксовских концепций, тем более что они были органической частью их философского или иного другого профессионального образования и мировоззрения. Однако советская обществоведческая (социологическая) мысль оставалась длительное время в противоестественном состоянии — она оставалась *искусственно замороженной* с помощью марксистской методологии вплоть до середины 80-х гг. И потому, советская социология как наука (прозрения отдельных ученых, осмысливших все до конца, здесь не будут играть ведущей роли) «не решила своей главной задачи, связанной с типологической идентификацией советского общества, не предсказала неизбежность ожидавшей его трансформации».

Несвобода социологической мысли — первая и самая важная причина того, что история «поручила» диссидентство представителям других обществоведческих дисциплин, например, философам, историкам, представителям иных свободных профессий. Как бы подкрепляя этот исходный тезис, исследователи пишут, что среди последних было больше беспартийных, чем среди первых социологических когорт. Либеральные идеи в большей мере циркулировали в среде беспартийных. С другой стороны, существовало «призрение» за результатами социологических исследований. Малейшее проявление политической нелояльности вело, как правило, к отлучению ученого от

собранных данных и их анализа. Опасение, что исследовательская деятельность может быть приостановлена в любой момент, делало социологов менее оппортунистичными» в сравнении с другими обществоведами.

Сказалось ли это на широте социологического воображения, на общей картине современного общества (мира), на сегодняшнем менталитете социологов?

Да, сказалось. Несмотря на изменившиеся условия, наша наука сегодня с отставанием осмысляет опыт минувшего века, уступая не только художественной, литературе, но и истории. В свою очередь отечественные историки лишь с недавнего времени стали погружаться в глубины «советского», с опозданием приступив к формированию своего взгляда на наше недавнее прошлое. Этому есть объяснение, которое нелишне повторить: многолетние идеологические табу надолго вытолкнули многие представления в тень исторического, социологического, более широко — обществоведческого сознания, повлияли на нашу способность к рефлексии быстро развивающегося социального знания... Не потому ли наше теперешнее заостренное восприятие прошлого (бесчеловечный режим), которое было вброшено в сознание народа в перестроечное время, оказалось не единственно возможным, далеко не абсолютным?

Именно такой вопрос поставили перед собой историки Саратовского университета и доказали его правомерность, выпустив в свет сборник работ американских историков, посвященных сталинизму [1]. Эту книгу я бы советовал прочесть всем социологам. В частности, там говорится, что большевистский надзор за настроениями населения не просто и не только российский феномен, а вспомогательная функция политики современной эпохи, одним из вариантов которой является тоталитаризм. Автор этой «индульгенции» М. Фуко — один из беспощадных исследователей современной цивилизации. Он писал, что тем и отличались современные государства от традиционных, что стремились изменять сознание и мировоззрение подданных, «управлять людьми», а не просто «править» землями. «Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально элитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию режима парламентского, представительского типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной стороной, темной стороной этих процессов» [15, с. 325]. В итоге нормализующая власть становится одной из основных функций современного общества. «Судьи нормальности окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и «социального работника-судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи» [15, с. 448-449].

Тезис ясен. А где и в чем связь разномыслия с ментальностью, исследования которой ты начал во время работы в Институте Кеннана?

Мне здесь поможет Умберто Эко [16]. Его позиция, открывающая путь к изучению ментальности, состоит в том, что мы, как не в состоянии существовать без питания, сна, так не способны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Буквально: можно ополоуметь, живя в социуме, где все и каждый, едва ли не каждый, систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нет. Самый трагический для истории случай, когда круг Других (с которыми особь себя соотносит) сужен до пределов группы, клана, племени, партии, этноса, а остальные являются в мягком варианте «не нашими», а в брутальном агрессивном варианте — «варварами» и не воспринимаются как человеческие существа.

Ну а теперь, одна ссылка на мое недавнее исследование ментальности. Оно позволило установить, что многие россияне до сих пор знают «чужое» лишь по наслышке. Их ментальная конструкция это, прежде всего, «мы — они». Все остальные люди, то есть «не свои» — «чужие» и неправильные, равно как и их мысли. На каком-то этапе это вполне естественно. Проблема в том, что значительная часть нынешних жителей Российской Федерации (часть социологов здесь не составит исключения) за пределы этого этапа не вышла. Один из экспертов моего проекта заявил: Россияне ищут несхожесть или сходство *всегда*. Сходство/несхожесть выступает в роли оценочной категории: «Молодец, это — по-нашему!». Эксперт не раз слышал от своих российских оппонентов: «Вы мыслите не по-нашему», «Такая логика — не наша». Это маркирование служит в российской научной этике заменой аргументов.

Значит, ты хочешь сказать: Да, мы — «другие», но нам надо знать, что думают о нас представители дальнего, а теперь и ближнего зарубежья, их суждения, мнения, оценки часто демонстрируют полезное для нас разномыслие?

Именно это! Рефлексией, анализом всего, что имело место в жизни советской страны, за рубежом всегда занимались очень серьезные люди - политические деятели, журналисты, представители социальных и гуманитарных наук. Конечно, писали они с разных позиций, с разной степенью объективности/тенденциозности, реакционности/прогрессивности. Понять плюрализм и принципиальную несводимость их точек зрения сравнительно нетрудно, если принять во внимание разнохарактерные вызовы, которые постоянно бросала миру советская страна. Однако слушать мир и слышать все, что он говорит и думает о стране победившего социализма, в СССР было не принято. Тем более не считалось правилom реагировать на мировое общественное мнение. Отгородившись по воле своих вождей от остальной части планеты «железным занавесом», страна жила в состоянии изоляции и потому едва ли не все произносимое «*извне*» по поводу нашего неодолимого движения к коммунизму «*изнутри*» чаще всего расценивалось не иначе как очередное (дежурное) проявление антисоветизма. Не могу сказать, что эти оценки, как правило, предлагавшиеся «сверху» наталкивались на серьезное сопротивление «снизу». Хотя, к чести мирового сообщества, подчеркну это

особо, по прошествии многих лет, оно не один десяток лет прозорливо понимало вопросы огромной важности, затрагивавшие коренные особенности развития советской социальной системы и требовавшие рефлексии на всех ее уровнях. Если очистить проблему от набивших оскомину идеологических споров, то придется признать, что зарубежная социальная (политическая) мысль обладала одним решающим преимуществом в дискуссии с марксизмом, возведенным в ранг государственной общественной теории. Она была свободной!

Кстати, в этом качестве она во многом сформировала, если не теорию, то понятийный язык описания и анализа советской системы, неуклонно двигавшейся к своему историческому финалу. Критика и преодоления *культы личности* не равноценны искоренению *сталинизма* и уничтожению почвы, на которой он произрастает. Сознаемся в том, что о сталинизме первым заговорил Запад, призывая нас называть вещи своими именами. Одна из самых по своему значению трагически по своему содержанию книг «Архипелаг Гулаг» была написана в начале 1970-х годов. Однако главная солженицынская тема начала звучать уже в довоенные годы в зарубежных изданиях мемуаров и воспоминаний людей, которым чудом удалось бежать из советского лагерного плена, а также в работах деятелей первой волны русской эмиграции, представлявших в прошлом оппозиционные по отношению к большевикам партии.

Оттуда же в 1960-е пришло слово «*диссидент*», как обозначение движения против тоталитарного режима в социалистических странах. В очередное издание «Политического словаря» у нас это слово впервые вошло в 1978 г. Империалистическая пропаганда, говорилось там, обозначает этим термином «отдельных «отщепенцев», которые становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к империалистическим подрывным (разведывательным и пропагандистским) центрам. Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор упомянутого словаря решил прибегнуть к авторитету Л. Брежнева, который, в свою очередь, решил сослаться на высший авторитет — «наш народ», требующий, «чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма, ...пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем, и будем принимать в отношении их меры, предусмотренные законом». В своем ключе высказался и Ю. Андропов, один из создателей карательной психиатрии — принудительно лечения разно- и инакомыслия. Для него диссидентами были люди, побуждаемые политическими идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом, национальными вывихами, личными обидами и неудачами... наконец, в ряде случаев, психической неустойчивостью [4].

Ты пишешь: «Совершив переход с социального уровня на уровень действий и поступков отдельного человека, я обрел поддержку в высказываниях и воспоминаниях моих ровесников, чьи жизненные впечатления я уверенно разделяю и считаю их верными». По твоему мнению, насколько заметны в численном отношении были эти группы?

Выше я говорил о двух категориях шестидесятников: принимавших систему по ее правилам и умевших использовать их для совершенствования, и находившихся вне системы. Себя я не отношу ни к той, ни к другой категории. Я постоянно пытался синтезировать правила системы, по которым играл как номенклатурщик, но стремился сохранить себя как ученого. Система упорно стремилась многоцветие жизни свести исключительно к черным и белым тонам, внутри нее постепенно выкристаллизовывались «нужные люди», занимавшиеся «тем, что положено и как положено». При этом вне системы оставались их антиподы: «не те люди», занимавшиеся «не тем, чем положено и не так, как положено». Их число антиподов непрерывно росло, приближаясь к критическому значению. Когда все мы оказались в числе антиподов, система рухнула. Наверное, в тот момент нас оказалось очень много, едва ли не большинство, а «правильных» людей меньшинство. И сегодня власть снова движется по тому же пути, аккуратно составляя списки «наших и не наших». Впору садиться за стол и писать историю разномыслия в постсоветской России.

Прежде чем ты углубишься в эту новую работу, пожалуйста, ответь на три моих последних вопроса. Первый: я понимаю, что обсуждаемая книга – итог некоего интегрального подхода к освоению нашего прошлого, что в ней нашли применение методы анализа социума, встречающиеся в разных науках, и все же мне хотелось бы «оприходовать» твою работу по нашему социологическому департаменту. Уместно ли говорить о том, что это книга по социологии массового сознания советского общества?

Классификаторы, которыми мы пользуемся для «оприходования» социологических работ, далеки от совершенства. В моем случае речь идет о советском этапе *генезиса* российской личности. Каковы окончательные результаты этого генезиса, сказать трудно, но все-таки разномыслие изменило советского человека, помогло разрушить броню принудительного единодушия, в которую страна была закована репрессивным сталинским режимом. И хотя в сути своей современный человек остался уязвимым, ничуть не прибавив эмоционально, душевно, интеллектуально, но все же след от высвобождения энергии разномыслия остался в форме обертонov нового мироощущения — «длящегося отторжения от какой бы то ни было единой доктрины, общей идеологии, от маршировки строем» [3, с. 11-12].

Мой второй вопрос: «Одно из достоинств обсуждаемой книги я вижу в ее «автобиографичности». Каким образом ты искал меру в том, чтобы, с одной стороны, действительно передать многое из пережитого, с другой — не расплескаться в этом начинании?»

Искал на ощупь. Боялся оказаться слишком назойливым в том, что касается опыта собственного разномыслия. Объяснять эту рефлексию задним числом трудно. Я пока не готов раскрывать мою «творческую лабораторию».

Жаль, но мы исчерпали лимит, отведенного нам пространства в «Социологическом журнале» и настало время для заключительных фраз. Что бы ты хотел сказать в заключение нашей беседы?»

Альтернатива диссидент — конформист, о которой мы продолжаем чаще всего говорить, обращаясь к советскому прошлому, не исчерпывает ни социальных позиций, ни психологического склада людей. Одно состояние умонастроений я бы рискнул вписать между этими вечными антагонистами. Это случай, когда ты еще не можешь бросить вызов социальному порядку, идеологии, «верхам», но уже не хочешь пассивно следовать велениям власти, бездумно принимать существующий status quo и слепо верить в справедливость господствующего в стране социальных взглядов и учений. «Неправдой искривлен мой рот», написал когда-то Мандельштам. Лжецами мы не рождались, но становились ими под влиянием господствующих правил советской жизни. Впрочем, святости в отношениях с истиной и правдой не хватало не только государству, но и гражданам. Потому все мы, не только свидетели-праведники, невинные жертвы обмана, но также прямые и косвенные участники свершений, заблуждений и преступлений своего времени.

Оценку моему разномыслию, если оно было, пусть выскажут читатели моей книги и журнала. Как человек советский я искал и находил свою меру и форму притягивания правил советской жизни, а также свою меру и форму отчуждения от них. Какими бы они ни были, я никогда от них не откажусь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001.
2. Быт великорусских крестьян-землепашцев (по материалам Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева) / Сост. и авт. вступительной статьи, описания материалов Владимирской губернии и научно-справочного аппарата Б.М. Фирсов и И.Г. Киселева. СПб.: Изд-во Европейского дома, 1994.
3. *Вайль П.* Карта родины. М.: КоЛибри, 2007.
4. *Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. Кн. 2. М.: Изд-во МИК, 1991. С. 243-244.
5. Качество населения Санкт-Петербурга / Отв. ред. Б.М. Фирсов. СПб Филиал Ин-та социологии РАН. Ч. 1, 2. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 1993, 1996.
6. Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции / Под ред. Б.М. Фирсова. Л.: Наука, 1981.
7. *Рассадин С.* Книга прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: ТЕКСТ, 2004. С. 25-26.
8. Словарь синонимов русского языка. В 2-х т. Т. 2. Л.: Наука, 1971. С. 347.
9. *Травин Д.* Борис Фирсов. Мир за фасадом // Дело. 2006. 13 нояб.

10. *Травин Д.* Людмила Алексеева. Вызов системы // Дело. 2006. 21 авг.
11. *Травин Д.* Федор Бурлацкий. Устроитель коммунизма // Дело. 2007. 12 февр.
12. *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950-1980-х годов. Курс лекций. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2001.
13. *Фирсов Б.М.* Пути развития средств массовой коммуникации. Л.: Наука, 1977.
14. *Фирсов Б.М.* Телевидение глазами социолога. М.: Искусство, 1972.
15. *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
16. *Эко У.* Пять эссе на темы этики. СПб.: Изд-во «Симпозиум», 2000. С. 8-9.